

ТОЛЬКО МОЙ
МАСКАРАД



АРТЁМ АВАНГАРД

Артём Авангард

Только мой Маскарад

«Автор»

2026

Авангард А.

Только мой Маскарад / А. Авангард — «Автор», 2026

Мейстаун — автономный город, где технологии постепенно проникают во все стороны человеческой жизни. Морис Штейн работает в лаборатории вместе с Артуром — талантливым исследователем, способным находить решения там, где другие видят лишь тупик. Морису до его интуиции далеко. Он привык наблюдать, записывать, систематизировать и доводить чужие идеи до совершенства. Артур создаёт проект, который должен изменить город и отношение общества к преступности. Морис становится свидетелем его работы — и человеком, которому доверено слишком многое. Спустя годы Морису предстоит столкнуться с последствиями решений, принятых тогда, когда ещё казалось, что последствия можно контролировать. «Только мой Маскарад» — психологическая антиутопия о зависти, ответственности, власти и границе между чужой идеей и собственным замыслом. О человеке, который пытается изменить мир — и постепенно обнаруживает, что вместе с миром меняется он сам.

© Авангард А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава I. Тень чужой интуиции	5
Глава II. Наследство без завещания	11
Глава III. Проценты вместо лиц	23
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Артём Авангард

Только мой Маскарад

Глава I. Тень чужой интуиции

Хроника первая

Мейстаун не значится ни на одной карте как город в привычном смысле слова. Карта показывает границу, а границы у Мейстауна там, где её ищет глаз, нет. Формально он лежит внутри одного из штатов Соединённых Автономных Штатов, в графе «муниципальное образование особого статуса», между двумя цифрами почтового индекса, которые картографы путают из года в год. Фактически он не подчиняется никому, кроме себя самого, и делает это со всей тщательностью города, которому нечего доказывать.

САШ устроены так, что власть в них похожа на воду: внизу она находит больше места, чем наверху. Формально во главе стоит Император — фигура, чьё имя знает каждый ребёнок и чей голос не слышал почти никто. Ниже — штаты, у каждого своё правительство, армия и язык законов: страна внутри страны, держава внутри державы. Ещё ниже, там, где кончается субординация и начинается послушание, — города. Обычные города подчиняются штату так, как положено: через мэра, через отчёт, через бюджет, утверждённый сверху.

Мейстаун — не обычный город.

Когда-то, если верить архивам, которые он хранит неохотно, это был портовый посёлок, разросшийся вокруг верфей быстрее, чем для него успевали строить улицы. Потом он стал торговым узлом. Потом — местом, где сошлось слишком много денег, слишком много технологий и слишком мало терпения к внешнему контролю, чтобы штат мог удержать его в прежней клетке. Так рождаются автономные города-государства: не по указу, а по факту. В какой-то момент проще признать то, что уже случилось, чем бороться с этим.

Здесь нет президента и нет мэра в привычном виде. Есть дума — совет директоров, каждый из которых отвечает за свой ломоть города: безопасность, бюджет, порт, здравоохранение, образование, окраины. Голоса взвешиваются, оспариваются, торгуются, как товар на бирже, и лишь в час настоящего тупика последнее слово остаётся за тем, кто сидит во главе стола. Голос главы в такие часы считается за два. Не потому, что так велит закон, а потому, что кто-то должен сказать «довольно», и закону всё равно, кто это скажет.

Мейстаун растёт вверх и вниз одновременно. Башни корпораций тянутся к небу стеклянными рёбрами, а под землёй, в темноте, до которой не достаёт свет коммуникационных ламп, живёт другой город: заброшенные тоннели, старые коллекторы, склады, каких официально не существует. Между ними лежит третий, тот, что виден всем: улицы, доки, кварталы, где живут люди, не поднявшиеся достаточно высоко, чтобы смотреть на остальных сверху.

I

В лабораторию Артура Миккельсена я вхожу через два месяца после диплома, ни единой строчкой которого, увы, не горжусь. Университет учил инженерии так, как учат мыть посуду: не спрашивая, хочет ли человек когда-нибудь снова есть с этой посуды. Хотел я другого. Чего именно, не знал, но точно не того ряда формул, который мне выдали как венец образования. Практику по учебному плану я отбывал в Институте протезирования лиц, в учебном отделе, где мы чертили оснастку для чужих экспериментов. До лабораторий практикантов не допускали. К Артуру меня берут уже дипломированным инженером, лаборантом, на место, которое освободилось само, потому что предыдущий лаборант не выдержал его ночей.

Институт занимает два верхних этажа старого корпуса на границе среднего яруса, там, где кончаются приличные кварталы и начинаются те, что попроще, но ещё не опустились до

доков. Первое, что я вижу в лаборатории, — не Артур, а его стол. Инструменты лежат на нём не как попало, а в порядке, который постороннему показался бы случайным, а мне, привыкшему читать чертежи как чужие мысли, открывается через минуту: сначала то, что режет, затем то, что держит, затем то, что соединяет. Логика конвейера, наложенная на логику хирурга.

— Вы, наверное, новый лаборант, — говорит он, не поднимая глаз от микроскопа. Голос у него тихий, рождённый будто не для слушателей, а для того, чтобы самому проверять мысль на прочность.

— Морис Штейн.

— Артур. — Он произносит это так, словно фамилия — деталь, необязательная между людьми, которым предстоит делить комнату ближайшие годы. — Садитесь куда-нибудь. Только не за стол у окна: там вентиляция сушит клей быстрее, чем нужно.

Я сажусь за стол у двери и весь первый день смотрю, как он работает.

Лаборатория состоит из трёх частей, и я выучиваю их раньше, чем фамилии коллег. Центральный зал: длинный, с высоким потолком и одной холодной лампой над столом, где лежит манекен. Пульт наблюдения стоит у дальней стены, в шести шагах от стола, а между пультом и столом на полу тянется жёлтая полоса, нанесённая краской по трафарету. Это граница рабочей зоны: внутри неё нейроинтерфейс считывает каждого, кто сидит в кресле, а манипулятор достаёт до любой точки; за ней не достаёт. Артур красил её сам, в первую неделю после установки машины, и поссорился с администратором института, считавшим такую полосу оскорблением для оборудования. Вторая часть — предзальные комнаты: мой стол у двери, стеллажи и шкаф с тетрадами Артура, которые он ведёт от руки, вопреки всем регламентам. Третья — техническое крыло, отделённое железной дверью в конце коридора: мойка, склад реактивов и печь, куда годами уходит всё, что нельзя выбросить целым.

Он не чертит решений. Это я понимаю в первые часы, и это отличает его от всего, чему меня учили. Он может часами сидеть перед голограммой нейроинтерфейса, не касаясь инструментов, будто ведёт переговоры с чем-то невидимым, а потом за одну ночь переписать половину архитектуры и объяснить это не расчётом, а ощущением: «здесь ткань не хочет так, ей нужно иначе». Я слушаю такие объяснения месяцами и так и не учусь отделять, где в них кончается инженерия и начинается то, для чего у меня нет слова.

Руки у него дрожат. В спокойные минуты дрожь едва угадывается, её разгадывает разговор, чашка чая, поднесённая ко рту чуть медленнее обычного. Но стоит взять инструмент, требующий точности хотя бы в десятую долю миллиметра, и тремор проступает так явно, что в первую неделю я чуть не спрашиваю, как он вообще стал хирургом. Не спрашиваю, и хорошо: ответ я вижу сам. Он не режет. Он думает резать, а хирургическая машина, подключённая к его нейроинтерфейсу, исполняет эту мысль руками, которых у него теперь две пары: свои, дрожащие, и стальные, безупречные.

— Это не костыль, — говорит он мне однажды, поймав мой взгляд на манипуляторе. — Это перевод. Я не умею говорить руками. Машина умеет говорить руками то, что я думаю.

Ничего умного я не отвечаю. Позже мне покажется, что именно в эту минуту во мне зарождается зависть, ещё бесформенная, и не к его гениальности, а к чему-то более простому и более стыдному: у него есть устройство, выводящее на свет то, что живёт у него в голове. Мне такого не досталось. Всё, что я умею, — фиксировать чужую мысль на бумаге, аккуратно, без потерь и без единой ошибки в форматировании.

На третьей неделе он показывает мне то, ради чего институт терпит его дрожащие руки и неоформленные отчёты. В центре зала на столе лежит манекен: биологическая болванка в человеческий рост, выращенная институтом для испытаний. Лицо у неё настоящее, из живой ткани, и лаборанты между собой зовут его маской. Так у нас говорят про любой лицевой протез, от накладной пластины до полной реконструкции, и слово это пока означает не больше, чем профессиональный жаргон.

— Смотри. — Артур кладёт ладонь на подлокотник кресла, и лицо манекена, до этого безмятежное, дрогнув, складывается в улыбку. — Интерфейс работает в обе стороны. Он читает, что нерв говорит мышце, и говорит мышце то, что нужно. Читать и говорить — одно движение, только в разные стороны.

Улыбка держится. Он убирает руку, а улыбка остаётся.

— Режим покоя. Когда приживается лоскут, мимика ему враг: каждая гримаса тянет шов. Поэтому лицо держат неподвижным, девять дней, иногда четырнадцать. Прибор запоминает последнее прочитанное выражение и удерживает его, пока ткань не срастётся.

— А потом?

— А потом ключ. — Он касается крошечного узла у основания импланта, серого, размером с горошину. — Живой, приживается на нерве вместе с тканью. Когда лоскут срастается, ключ сам размыкает контур, постепенно, мышцы возвращаются по одной. Я делаю его первым, до всего остального. Без ключа режим покоя не кончился бы никогда.

Он говорит это мимоходом, между двумя другими вещами, и я записываю фразу в протокол дословно, как записываю всё.

Может быть, тогда же я начинаю вести протоколы иначе, чем требует должность. Не искажая фактов: этого я не делаю никогда, ни в те годы, ни позже, до самого конца. Но формулировки, оставшись со мной наедине, понемногу смещаются, не в сторону лжи, а в сторону языка, каким я сам говорил бы, если бы мне было что сказать. Безобидная привычка. Так я объясняю себе это.

II

Институтские годы Артур вспоминает редко. Он не скрывает их, просто, кажется, искренне не считает себя героем той истории, которую о нём рассказывают. Версию его прошлого я собираю по частям, растянутым на месяцы: соседский мальчик по имени Раян, ожог, лицо, которое Артур перестал узнавать задолго до того, как узнал слово «протезирование». Он ни разу не подаёт эту историю как объяснение выбора профессии, упоминает о ней вскользь, как о погоде в детстве. Но я вижу, что каждый пациент, входящий в нашу смотровую, для него не запись в карте, а очередная попытка заполнить контур, оставшийся пустым в девять лет.

У Артура есть брат. Генри. О нём я узнаю сперва не от самого Артура, а из институтских слухов: старший Миккельсен, военный инженер, «белая ворона» в семье, где гениальность младшего считается почти официальным титулом. Лично же с Генри я знаком раньше, чем могу оценить, насколько это важно: мы учились на одном курсе военно-инженерного факультета, сидели за соседними чертёжными столами и делили один учебник по сопротивлению материалов на двоих, потому что второго не хватало библиотеке. Когда я оседаю в институте протезирования, это уже только продолжение практики при дипломе, а не перемена судьбы, и нашей дружбы она не трогает.

Разговаривать с Генри легко так, как никогда не бывает с Артуром. Стыдно признавать, и тогда было стыдно, и сейчас тоже, но между двумя братьями я с первой недели чувствую себя свободнее рядом с тем, кто не гений. С Генри можно говорить на языке допусков и нагрузок, где нет места интуиции, недоступной мне ни в какой форме. Мы понимаем друг друга без усилия, ровно, как два человека, читающие одну схему одинаково.

С Артуром так не выходит. Я могу понять, что он делает. Не могу понять, откуда он это берёт.

— Ты с Генри дружишь крепче, чем со мной, — говорит мне однажды Артур, без упрёка, с любопытством, с каким разглядывают редкое насекомое. — Забавно. Он же скучный рядом со мной.

— Он не скучный, — отвечаю я, не подбирая слов заранее. — Он понятный.

Артур смеётся. Не обижается, а именно смеётся, будто мысль кажется ему по-настоящему смешной, из тех, что сам он о себе никогда бы не подумал.

— А я, значит, непонятный.

— Ты — да.

Ему, кажется, даже нравится это признание, оно подтверждает то, в чём он и сам давно уверен: что он особенный, недостижимый, единственный в своём роде. Я не думаю, что говорю что-то важное. Это обычная шутка между друзьями. Я не замечаю, какой вес имеет для человека, годами жившего в чужой тени, услышать от друга подтверждение собственной незначительности, сказанное так легко.

III

Наша дружба держится, как я пойму позже, на асимметрии, которую никто из нас не называет вслух. Артур восхищается мной искренне, но не как равным, а как удобным продолжением себя, тем, кто расшифрует, приведёт в порядок и доведёт до готового протокола любую его интуицию, не потеряв по дороге ни одной детали. В этом я не уступаю никому в институте. Я читаю чужие чертежи безупречно.

Порождать что-то похожее на его решения я не могу никогда. Новостью это не является: со студенческой скамьи интуиция остаётся для меня чужим языком. Но знать — одно, а каждый день, годами, смотреть, как из ощущения, из невидимого разговора с тканью вырастает решение, которое потом достаётся мне для упаковки, — совсем другое.

Записываю я его слова дословно. Работа моя требует этого, а к работе я отношусь с той же добросовестностью, что и ко всему остальному. Но иногда, оставшись поздним вечером с готовыми записями, я позволяю себе не переписать, нет, я не лгу даже тогда, а слегка подправить: слово здесь, оборот там. По капле, задолго до того, как для этого найдётся повод, я присваиваю крошечную долю авторства, в которой сам себе не признаюсь.

Если бы кто-нибудь указал мне на эту привычку прямо и назвал её тем, чем она является, я, может быть, остановился бы. Может быть, и нет. Никто не указывает, а сам я зеркала для мелких грехов не ищу: слишком занят тем, чтобы быть полезным человеку, чей гений не могу ни повторить, ни разделить.

В лаборатории, пахнувшей нагретым пластиком и озоном от сварочных контуров, мне просто нравится быть рядом с человеком, которым я никогда не стану, и эта близость сама по себе кажется достаточной наградой.

Я ошибаюсь. Но ошибка из тех, что не болят сразу: она копится годами, как вода в трещине скалы, и замечаешь её, лишь когда камень раскалывается пополам от одного зимнего мороза.

IV

Стучать в дверь лаборатории дважды, даже зная, что внутри никого нет, — эту привычку Артура я перенимаю так незаметно, что не назвал бы дня, когда она становится моей. Объясняет он её без охоты, что-то о детстве, о кухне, об утре, когда вошёл без стука и увидел то, чего лучше было не видеть без предупреждения. Подробностей я не спрашиваю. Некоторые истории людям нужнее рассказать не до конца.

Вечерами, когда корпус пустеет, мы часто остаёмся допоздна: не потому, что горят сроки, а потому, что решение, не дававшееся при свете дня, порой приходит только в тишине, когда никто не отвлекает шагами за стеной. Я готовлю инструменты, проверяю калибровку, веду журнал испытаний, всё то, что позволяет Артуру не думать ни о чём, кроме задачи. Однажды он говорит, что без меня работа шла бы вдвое медленнее. Эту фразу я запоминаю лучше многих, сказанных им за годы, и не потому, что она особенно ласковая, а потому, что точная. Он не говорит «хуже». Он говорит «медленнее». На слух разница невелика, но для человека, который по капле присваивает чужие крохи авторства, она стоит больше, чем Артур может вообразить.

Лиза Грейвош появляется в институте на моём втором году. Она наша первая полная маска: не накладка на кость, а лицо, восстановленное на нервах. Пациентка Артура, девушка с врождённой деформацией челюсти и гортани, она молчит почти всю жизнь: говорить может, но

каждое слово даётся ей ценой, которую мало кто готов платить за обычный разговор. Приёмы ей ведёт преимущественно медсестра, оперирует Артур лично, и я вижу Лизу нечасто. Зато замечаю, как меняется его лицо в те дни, когда её визит стоит в расписании. Он становится внимательнее к мелочам и дольше задерживается у зеркала перед приёмом, будто проверяет не инструменты, а собственное отражение.

Один её приём я всё же провожу за пультом. Медсестра слегла с простудой, а калибровка диапазона не терпит отсрочки. Так у Артура называется обязательная часть любой операции: чтобы интерфейс не сломал мимику, а вернул её, ему нужно знать границы того, на что способно лицо пациента, от самого спокойного выражения до самого крайнего.

— Вспомните, что пугало вас сильнее всего, — говорит Артур тихо, как говорят с ребёнком, которого нельзя спугнуть. — Не рассказывайте. Просто вспомните.

Лиза закрывает глаза. На экране передо мной ползёт кривая: напряжение мышц, ветви лицевого нерва, слои, которые я вижу только графиком, а он видит, кажется, лицом. Потом она бледнеет, и кривая вздёргивается в пик.

— Теперь то, что злило.

Кривая ложится на прежний пик так точно, что я решаю, будто прибор завис.

— Не завис, — говорит Артур, увидев мой взгляд. — Крайние точки страха и ярости для нерва почти неразличимы. Мышца сжимается одинаково. Различаются они только тем, что стоит за ними, а этого прибор не читает. Поэтому я всегда спрашиваю. — Он поворачивается ко мне. — Запиши: крайние точки различать только по контексту, только со слов пациента.

Я записываю дословно. Лиза открывает глаза и смотрит на него так, как смотрят на человека, спросившего разрешения войти, а не вошедшего просто так. Операция идёт ночью, когда институт пуст. Лиза лежит на столе на месте манекена, под той же холодной лампой, и впервые я вижу, как Артур растит ключ.

Он в кресле, я за пультом. Перед ним обнажённый лицевой нерв, тонкий, как волос, розоватый под светом. К нему подведён узел, серый, пока неживой. Артур закрывает глаза. Манипулятор замирает над столом, и на моём экране ползёт кривая слабых импульсов: ровная, почти гладкая, как кардиограмма спящего.

— Ещё чуть медленнее, — говорит он.

Я уменьшаю частоту на две сотых. Кривая почти не меняется.

— Ещё.

Ещё на две сотых. Я смотрю на цифры и не вижу разницы. В отличие от него даже не слышу её. Для меня это частота, для него разговор.

— Ты слышишь? — спрашивает он, не открывая глаз.

— Да, — лгу я.

Он улыбается уголком рта.

— Врёшь. Ничего. Ты запишешь то, что слышу я.

Так проходят три часа. Он говорит «ещё чуть медленнее», я уменьшаю, он молчит, потом говорит «стоп», потом «чуть быстрее», и тогда что-то на экране, чего я не сумел бы назвать, сдвигается: серая точка на срезе нерва темнеет и проступает ярче. Узел принимает ритм. К рассвету он размером с горошину, и Артур, с покрасневшими глазами, с дрожащими руками, смотрит на него так, как я никогда ни на что не смотрел.

— Всё, — говорит он. — Дальше она сама.

Я записываю в протокол: «ритм подобран оператором по ощущению; параметры не воспроизводимы». Формулировка точная. Я записываю её и не перечитываю.

Через девять дней после операции ключ размыкает контур, и в тот же вечер она впервые за двадцать лет улыбается чуть шире, чем собиралась. Артур стоит к ней спиной и делает вид, что проверяет калибровку. Руки у него не дрожат. Это замечаю только я.

Спрашивать его о Лизе я не стану. Не моё дело, говорю я себе, и это отчасти правда, отчасти удобный способ не заглядывать туда, куда заглядывать не хочется. Кроме медицинских деталей, он мне о ней не рассказывает ничего, и я предпочитаю считать это профессиональной сдержанностью, а не чем-то, что он хранит отдельно от меня.

V

Манекенный протокол — так Артур называет нашу главную разработку тех лет: ранняя модель интерфейса, соединяющего протез напрямую с нервной тканью, без посредника в виде накладной пластины. В институтском реестре тема числится как ГАМ, Группа Автоматизации Масок. Автоматизируем мы то, что до нас делали руки хирурга: подбор, установку и подгонку лицевого протеза машиной, которая сама находит цель, сама измеряет ткань и сама доводит имплант до нужного положения. Слово «группа» щедрое. Нас числится двое, с манекеном трое.

Тестируем протокол на манекене, специально выращенном для этого: достаточно точном, чтобы фиксировать реакции тканей, и достаточно далёком от человека, чтобы никто не путал одно с другим.

Прототип капризен. Он теряет калибровку от малейшего сбоя в системе идентификации цели: программа иногда принимает контуры манекена за контуры человека, стоящего слишком близко к пульта наблюдения, и наоборот. Несколько раз за те месяцы мы откладываем из-за сбоев тесты и каждый раз шутим об этом, не со зла и не по беспечности, а потому что абсурдная мысль, будто машина однажды примет живого человека за манекен, кажется именно тем, чем и является: абсурдной.

— Однажды он примет тебя за манекена, — говорю я как-то Артуру, глядя, как манипулятор в третий раз за вечер дёргается и теряет цель.

Он смеётся легко, без тени тревоги.

— Тогда буду первым манекеном с чувством юмора.

Мы оба смеёмся, ничего не подозревая. Так смеются люди, для которых абсурд остаётся абсурдом лишь потому, что иначе он ещё ни разу не оборачивался.

Наутро я сужаю порог идентификации: программа быстрее объявляет контур подтверждённым. Отчёт выходит безупречным: пропущенных целей вдвое меньше, тесты идут гладко. Вторую цифру, число ложных подтверждений, я выношу в примечание, мелким шрифтом, и не возвращаюсь к ней. Артур подписывает изменение не читая: он подписывает всё, что я приношу.

До той ночи остаётся неделя. Это время я помню отчётливее многого из того, что случится после, не потому, что оно счастливое, хотя и таким оно тоже бывает, а потому, что оно последнее, когда я ещё не знаю, каким человеком стану.

Глава II. Наследство без завещания

Хроника вторая

Есть решения, которые город принимает не заседанием думы и не подписью на бумаге, а тем, как десятилетиями распределяет деньги. Мейстаун в те годы, когда молодой инженер Штейн ещё числился лаборантом при чужом гении, тратил на тюрьмы больше, чем на порт, и получал взамен то, что обычно получает город, вливающий деньги в стены, а не в причины, по которым эти стены нужны: растущий рецидив, переполненные камеры и отчёты, которые директор управления бюджетом, а если проще «директор бюджета» боялся выносить на открытое заседание.

Реформа готовилась годами, на закрытых встречах, куда лаборанты Института протезирования лиц доступа не имели и о существовании которых узнавали в лучшем случае из газетной заметки на последней странице. Никто в те годы не связывал тюремный бюджет с медицинской. Это была вещь будущего, из тех, что кажутся невозможными ровно до тех пор, пока кто-то не додумается их соединить.

I

Точного числа я не помню. Не потому, что память подводит, а потому, что не хочу помнить его точным. Есть даты, которые лучше носить размытыми, как старую фотографию, слишком долго пролежавшую на солнце: контур остаётся, деталь стирается, и в этом стирании единственная доступная мне милость.

Тест назначен на ночь. Не из секретности, из практичности: институтские сети ночью меньше загружены, и калибровка проходит чище, без помех от соседних лабораторий, которые гоняют свои эксперименты на общем контуре питания. Мы делаем так десятки раз. В этот вечер ничто не отличается от прежних, разве что Артур кажется устатее обычного, чаще трёт переносицу, а наливая себе воду, с первой попытки не доносит стакан до рта. Рука дрожит сильнее привычного тремора, вода расплёскивается по столу тонкой дорожкой, и я вытираю её тряпкой, не придавая этому значения.

— Устал? — спрашиваю я.

— Голова гудит третий день, — отвечает он, не отрываясь от голограммы протокола. — Гроза собирается, наверное. Я всегда чувствую её заранее, как старый моряк.

Гроза в эту ночь не соберётся. Небо над Мейстауном остаётся ясным, и я запомню это позже, выйдя на улицу через несколько часов в таком состоянии, когда способен запомнить цвет неба, но не что-либо сложнее.

Манекен лежит на столе в центре зала под холодной верхней лампой, той самой, что светила нам каждую ночь последних лет, безразличная к тому, что происходит под её светом. Манипулятор стоит над ним, сложив стальные руки, как хирург перед началом. Я сижу за пультом наблюдения у дальней стены, в шести шагах от стола, и сверяю показатели калибровки с протоколом. Красная клавиша аварийного отключения контура под пластиковой скобой у моей левой руки. Артур занимает кресло нейроинтерфейса возле стола, то самое, вросшее в контур управления манипулятором, в котором он проводит больше времени, чем в собственной постели.

— Начинаю проверку идентификации, — говорю я теми же словами и тем же ровным голосом, что и десятки раз до этого.

— Начинай.

Панель мигает, коротко, как случалось и раньше. Обычно сбой устраняется за долю секунды восстановления протокола. Я смотрю на неё мельком: месяцы капризного прототипа приучили меня не пугаться каждой мелочи.

— Небольшая рассинхронизация идентификации цели, — говорю я. — Секунду.

— Вижу, — отзывается Артур спокойно, буднично, как всегда в такие минуты. — Подожди перезагрузку контура.

Я не успеваю ответить.

Манипулятор поднимает голову. Не хаотично, не так, как при обычном сбое, а с той пугающей точностью, с какой машина исполняет команду, уверенная в своей цели. Он оставляет манекен, разворачивается через весь зал и тянется к пульту наблюдения. Дойдя до жёлтой полосы на полу, он вытягивается во всю длину и встаёт в метре от моих колен, беспомощно щёлкнув захватом: за полосу он не достаёт.

На моём экране, в поле идентификации, вспыхивает рамка: тонкая, зелёная, вокруг человеческого силуэта. Силуэт сидит за пультом в белой лабораторной куртке. Он мой.

Полторы секунды рамка держится. Я ясно помню, что за эти полторы секунды не думаю ничего, ни об Артуре, ни о клавише под левой рукой. Смотрю на собственный контур на экране, как смотрят на чужую фотографию, найденную в старом кармане.

Потом рамка дрожит, скользит вбок и ложится на другой силуэт.

Цель не я.

Манипулятор, послушный линии на моём экране, поворачивается к креслу нейроинтерфейса. К человеку, подключённому к нему нервами, чьи собственные сигналы идут по тому же контуру и на минуту смешались с сигналами лежащей на столе болванки. Система не различила двоих. Порог, который я сузил неделю назад, объявил контур подтверждённым раньше, чем она успела проверить, откуда идёт сигнал. Она увидела одну цель, тёплую, живую, с лицевым нервом, открытым для интерфейса, и приняла её за манекен. Кресло стоит внутри полосы. Меня спасает не случай: меня спасает линия, проведённая человеком, которого машина сейчас убьёт.

Артур не отшатывается. Голову он поворачивает, я вижу это ясно, и смотрит на приближающуюся руку с тем выражением, с каким смотрел на чужую ткань: внимательно, с профессиональным интересом человека, которому показывают новое. Он мог бы крикнуть. Мог бы вскинуть руку, тремор которой машина за годы научилась не замечать. Он не издаёт ни звука.

Красная клавиша под моей левой рукой. Об этом я узнаю позже, когда снова сумею вспомнить расположение предметов в комнате. Сейчас я смотрю не на клавишу.

Я слышу звук раньше, чем понимаю, что произошло: короткий, механический, лишённый всякой драмы, которую мы привыкли ждать от подобных мгновений в чужих историях. Ни крика, ни грохота. Щелчок исполненной команды, а за ним тишина такой полноты, что первые секунды я принимаю её за очередной сбой, за паузу перед перезагрузкой.

Не помню, как поднимаюсь. Память в этом месте рвётся, как перегретая плёнка, слишком долго показывавшая одну и ту же сцену. Помню кресло. Помню, что манипулятор замер в том положении, в каком его застало исполнение, а голограмма протокола так и висит в воздухе и показывает цифры, которые уже ничего не значат.

Протез рассчитан на манекен, не на живую нервную систему. Он не доведён до готовности, и мы оба знали это, обсуждали десятки раз, откладывая финальные тесты на живом объекте на потом, на будущее, казавшееся безопасно далёким, как гроза, которую Артур почувствовал заранее и которая так и не пришла. Ключ к этой модели мы ещё не вырастили: ему нужна живая ткань, а мы работали на манекене. Имплантация прошла быстро и необратимо. Лицо Артура осталось таким, каким было за секунду до неё: внимательным, чуть склонённым к плечу. Режим покоя без ключа держит последнее прочитанное выражение и продолжает держать его, когда держать уже нечего.

Описывать остальное я не буду. Не потому, что забыл. Я помню каждую деталь с той отчётливостью, какую живое сознание обычно бережёт себя от хранения, а моё, видимо, решило, что я заслуживаю иного. Скажу только: Артур Миккельсен умирает в лаборатории, где нет камер, кроме служебных, что пишут показания приборов, а не то, что происходит в

комнате. Умирает при мне. Без свидетелей, кроме одного, и этот один стоит над ним, не в силах ни крикнуть, ни позвать на помощь, ни сделать хоть что-нибудь из того, что положено делать человеку в такую минуту.

II

Несколько часов я провожу один в лаборатории с телом друга.

Не звоню в экстренные службы. Не звоню в институт, хотя дежурный администратор наверняка ещё сидит на посту и принял бы вызов из любого крыла корпуса. Я сижу на полу рядом с креслом, не двигаясь, и смотрю то на манипулятор, то на голограмму, то на лужицу воды на столе у пульта, которую вытер несколько часов назад и которая почему-то там снова есть. Наверное, высохла не до конца.

Объяснить эти часы разумно я не могу и теперь. Есть логика первая, частичная: страх, что меня обвинят в убийстве, хотя это авария, зафиксированная самим протоколом. Есть вторая: вместе с Артуром умирает всё, что он построил, если я не сохраню это сам.

И есть третья, в которой я признаюсь впервые за все эти годы, потому что человеку, потерявшему всё, что можно потерять, скрывать её больше незачем. Под слоем ужаса шевелится мысль, слишком постыдная, чтобы признать её в ту же секунду, и достаточно живучая, чтобы пережить десятилетия: теперь ГАМ, наша с Артуром тема, останется без единственного человека, способного оспорить моё авторство.

Момент, когда решение оформляется, я не помню. Помню только, что к рассвету знаю, что буду делать.

В техническом крыле стоит печь. Туда годами сбрасывают биологические и химические отходы наших с Артуром экспериментов, обрезки тканей, испорченные образцы, всё то, чему не полагается покидать институт целым. Я переносу его туда сам, ночью, когда коридоры пусты настолько, насколько вообще бывают пусты коридоры учреждения, которое никогда не спит до конца.

Этот путь я подробно описывать не стану. Скажу лишь, что руки у меня не дрожат. В отличие от рук Артура, мои тверды всю дорогу, будто тело берёт на себя то спокойствие, которое разум давно потерял. Позже я подумаю об этом как о жестокой иронии: человек с тремором доверял свою точность машине, а человек без тремора употребил свою точность на то, чтобы стереть последнее доказательство того, что машина ошиблась.

Печь рассчитана на органику, и её запуск ночью никому ни о чём не говорит: мы гоняем её по ночам годами, цикл идёт до утра, а журнал фиксирует лишь время включения. Она загорается как всегда, без драмы, без замедленной сцены, какие любят рисовать в чужих рассказах о подобных минутах. Просто загорается. Я стою рядом и смотрю столько, сколько нужно, чтобы убедиться: ничего из того, что могло бы рассказать правду вместо меня, не останется.

III

Версию для института я готовлю, кажется, ещё до того, как печь остывает. Не из расчётливости: разум, не принимавший реальности случившегося, ищет спасения в самом простом, что способен произнести вслух, не сорвавшись.

Мы с Артуром разошлись во взглядах на дальнейшее развитие технологии. Артур позабывал моему растущему авторитету среди коллег. Устроил скандал, обвинил меня в присвоении общих идей, хлопнул дверью и уехал из города в неизвестном направлении, оставив исследования на моё усмотрение.

Впервые я произношу это перед директором института за завтраком следующего дня, невыспавшийся, с воспалёнными глазами, которые нетрудно списать на ночь эксперимента. Директор верит сразу, не задав ни одного встречного вопроса. Может быть, потому что я говорю убедительно. Может быть, потому что у гениев вроде Артура давно сложилась в стенах корпуса репутация людей эксцентричных, способных исчезнуть внезапно.

ГАМ с этого дня, по официальной версии, принадлежит целиком мне, единственному оставшемуся автору темы.

Про блок памяти манипулятора я вспоминаю на пятые сутки. Стою у окна нового кабинета, где рабочий сверлит под табличку с моей фамилией, и вдруг понимаю, что тесты мы вели с полным журналом: манипулятор пишет каждое действие в собственный накопитель, в отсеке технического обслуживания, независимо от контура и от перезагрузки. Я сам составлял его спецификацию. Я сжёг тело, а единственного свидетеля, который не умеет ни лгать, ни молчать, оставил стоять в зале и смотреть на стол.

Ещё в первые дни я возвращался в зал ночью, без света. Стоял у стола, на котором остывал манекен, и не мог заставить себя подойти к креслу. Из шкафа забрал тетради Артура, все двенадцать, по одной, так берут у больного вещи, которые ему больше не понадобятся. Уходя, погасил лампу над столом, единственную, что никогда не гасла, и услышал, как в пустом зале что-то щёлкнуло: вентиляция перешла на ночной режим. Если оставить комнату как есть, она станет местом, куда приходят. Поэтому я и подписал бумагу о реорганизации.

Вечером на пятые сутки я иду к двери лаборатории и останавливаюсь. Переоборудование идёт полным ходом. Санкцию на него я подписал сам, как распоряжение о реорганизации помещений: так естественно и тихо, никому не приходит в голову спрашивать, зачем человеку, у которого ушёл партнёр, менять мебель в комнате, где тот работал. В предзальных помещениях меняют столы и стеллажи под другую тему. Центральный зал, где стоит манипулятор, трогать не станут: стойка вмонтирована в пол, кресло нейроинтерфейса вросло в контур питания корпуса, и подрядчик, которому я велел «привести помещение в порядок», говорит, что вынос потребует вскрытия перекрытия и акта комиссии. Дверь зала опечатывают институтской печатью с номером, а журнал вскрытий заводят у коменданта корпуса.

Это решает. Изъять блок без акта я могу, только сорвав печать, и тогда моё имя первым ляжет в журнал коменданта: первое вскрытие после отъезда Артура. Списать манипулятор официально значит вскрыть отсек комиссией. А то, чего никто не трогает, следов не оставляет. Я ставлю на то, что никто и никогда не спросит.

Есть только один человек, который не верит в мою версию ни на секунду.

IV

Генри звонит на второй день, не дозванивается, звонит снова и на третий день слышит от меня заранее выученную ложь. Он приезжает в институт сам, и его не пропускают дальше проходной без предварительной записи: обычная бюрократия, которая через несколько дней должна смениться обычным допуском. Допуска он ждёт три недели. Я его не тороплю.

Принимаю я его в новом кабинете, том самом, что раньше делил с Артуром, а теперь занимаю один, с новой табличкой на двери, которую заказал, кажется, раньше, чем следовало бы человеку, у которого якобы просто ушёл партнёр. Генри в дверях осунувшийся, в той же военной куртке, что была на нём на выпускном.

Он спрашивает прямо: где Артур.

Я повторяю версию слово в слово, тем же тоном, который отрепетировал перед зеркалом бесчисленное количество раз за эти дни. Зависть. Скандал. Отъезд в неизвестном направлении.

— Куда именно? — спрашивает Генри. В голосе его не ярость, а недоумение человека, привыкшего доверять фактам и столкнувшегося с фактами, не сходящимися между собой.

— Он не считал нужным отчитываться передо мной.

— По каким документам он выехал? Кто видел его на вокзале, в порту?

— Не знаю подробностей.

Мы знаем друг друга восемь лет, с первого курса, с общего учебника на двоих, с бессонных ночей перед экзаменами, давно ставших частью языка, на котором мы разговариваем свободнее, чем я когда-либо разговаривал с его братом. Я вижу, что он не верит мне ни секунды.

Вижу по тому, как долго он смотрит на меня, прежде чем задать следующий вопрос: слишком долго для человека, просто интересующегося судьбой пропавшего коллеги.

— Артур не уезжает, не попрощавшись, — говорит он. — Он забывает позвонить родителям на праздник, забывает поесть, но не исчезает, не сказав слова мне. Ни разу за всю жизнь. Я молчу.

Он давит. Спрашивает снова и снова, меняет формулировки, пытается поймать меня на противоречии тем же методом, каким разбирал бы неисправность в чужой конструкции, методично, слой за слоем. Я не срываюсь. Не потому, что хладнокровнее, чем сам о себе думал, а потому, что альтернатива, сорваться, признаться и потерять всё, что уже начало строиться на обломках лжи, кажется мне страшнее самой лжи.

В какой-то момент я встаю, подхожу к двери и открываю её. Не говорю ни слова: говорить больше не о чем, а любое лишнее слово грозит стать той самой трещиной, которую я не могу себе позволить. Генри выходит. Я запираю дверь на замок раньше, чем стихают его шаги в коридоре. Не из страха, что он вернётся, а из страха перед самим собой, перед тем, что я мог бы сказать, останься она открытой ещё на минуту.

Больше я не отвечаю на его звонки. Через месяц я распоряжаюсь, чтобы секретарь на входе в корпус не пропускал его даже до проходной, сославшись на распоряжение сверху. Распоряжение подписываю я сам, и, подписывая, думаю не о Генри как о человеке, потерявшем брата, а о Генри как об угрозе версии, которую строю так тщательно. Это первое из решений, обесценивших во мне то, что раньше называлось дружбой.

V

Смерть Артура не подталкивает меня продолжить его лечебное дело. Она ломает во мне способность видеть в человеческом лице что-либо, кроме места, где однажды случилась катастрофа. Исцелённых я больше не вижу. Вижу смерть, случившуюся у меня на глазах, и эта картина уводит меня туда, куда, кажется, я и по складу тянулся всегда, задолго до той ночи: не к лечению, а к контролю. Не к исцелению, а к предотвращению.

Перелом не озарение. Это цепочка мелких, поодиночке оправданных решений, растянутая на два года, и я хочу описать её так, как она идёт, не делая себя более расчётливым, чем я в первые месяцы.

Начинаю с долга. Директор института приносит мне список пациентов Артура: сорок с лишним фамилий, детские карты сверху. Список лежит на моём столе рядом с бумагой о передаче ГАМ, и каждый день кто-нибудь из этих сорока звонит в регистратуру и спрашивает, когда. Я отвечаю, что тема продолжается. Это правда, только теперь у неё один автор.

Продолжать её приходится по тетрадам. Двенадцать тетрадей лежат у меня в нижнем ящике стола, и я читаю их вечерами, как читают чужие письма: осторожно, ища не смысл, а то, что можно использовать. Почерк мелкий, летящий, с вычёркиваниями. Формул в них меньше, чем я ожидал. Чаще встречаются фразы вроде «здесь ткань не хочет так», «ждать, пока скажет сама», «не торопить». Из этого потока я вылавливаю три вещи, и только три, на которых держится всё остальное: нейроинтерфейс, читающий намерение нерва и говорящий ему в ответ; считывание выражения, снимающее состояние лица с точностью до нескольких кадров; режим фиксации, тот самый режим покоя, что удерживает последнее прочитанное. Всё остальное Артур называл «слухом», и в тетрадах его записать нельзя.

На одной из страниц, между расчётом тока и чьим-то адресом, рука Артура выводит крупнее остального:

> ключ — первым. без него всё остальное не лечение.

> ритм не записать. слушать.

> если Морис это прочтёт — запишет слово в слово. он всегда записывает. хороший.

Я читаю это стоя, не садясь, и закрываю тетрадь.

Систематизировать эти три вещи я могу. Составить таблицы, свести их к трём модулям, которые соберёт любой техник, написать протокол, где каждый шаг имеет номер. Это я умею безупречно. Воспроизвести то, что стоит между модулями, не могу.

Первым ломается ключ.

Он приживается на живом нерве, слушая его. Узел формируется под ритмом слабых импульсов, и Артур подбирал этот ритм для каждого пациента на глаз, вернее, на слух: сидел у пульта и говорил «ещё чуть медленнее». В тетрадах против графы «ритм» стоит одно слово: «по ощущению». Манекен, чей нерв отвечает на все импульсы одинаково, узел не принимает. Живой ткани у меня нет, а на живых пациентов Артура я не решаюсь: сорок фамилий лежат на столе, и я не могу заставить себя вызвать хоть одну из них на процедуру, к которой не готов.

Я сажаю три узла на новом манекене. Первый сереет на второй день. Второй приживается и через неделю начинает отторгаться. Третий не приживается вовсе. Я просиживаю над ним до утра и смотрю на серый комочек размером с горошину, пытаюсь угадать, чего от него хочет ткань. Я читаю эту ткань как чертёж и не нахожу в ней ни одной линии.

Директор приходит в лабораторию сам, впервые с той ночи. Останавливается на пороге зала и долго смотрит на кресло нейроинтерфейса, как на пустую койку.

— Мне нужен серийный протокол к концу квартала, — говорит он. — Институту нужно ваше, — прокашлялся он с той неловкостью, которая бывает при произношении неправильного ударения. — Нужно твоё изобретение, а не траур.

— Без ключа нельзя ставить живым.

— А с ключом, который вы не умеете растить?

Старший инженер отдела безопасности, пришедший вместе с ним, смотрит на серый узел в чашке и говорит негромко:

— Без ключа это не протез. Это приговор.

— Это ограничение, — говорю я.

Слово выбрано верно. В графе «ключ» я пишу: «исключён как нестабильный биологический элемент», ставлю подпись и дату, а в разделе «ограничения применения» добавляю: «имплант постоянен, снятие без разрыва контура невозможно; применение по решению комиссии». Комиссии не существует. Директор пожимает плечами: кому нужен постоянный протез лица?

Это первое, чем я жертвую ради воспроизводимости. Безопасность против серии: я выбираю серию. Сейчас мне кажется, что я просто убираю деталь, которую не умею делать. Я не спрашиваю себя, для чего Артур сделал её первой.

Манекен с включённым режимом я оставляю в углу зала. Проходит неделя, вторая, месяц. Он улыбается той улыбкой, что я задал ему в первый вечер проверки, когда прибор считал моё скудное напряжение и запомнил как последнее выражение. Улыбка не расходится ни на градус. Я прихожу по утрам, останавливаюсь у стола и смотрю на неё, как смотрят на знакомую вещь, которая вдруг обернулась иначе.

Прибор не лечит. Он запоминает. То, что Артур придумал как способ вернуть человеку движение, в основе своей способ остановить его и удержать: прочитать состояние лица в любую секунду и оставить его таким сколь угодно долго. Артур строил мост. Я стою на нём и вижу только, как крепко его опоры держат берег.

VI

Следователь приходит в конце второго месяца. Молодой, в мятом пиджаке, из районного отдела, по заявлению о пропаже человека, которое подал Генри Миккельсен. Он садится в кресло напротив моего стола, достаёт блокнот и просит рассказать, при каких обстоятельствах я в последний раз видел гражданина Миккельсена.

Я рассказываю. Версию я к этому времени знаю наизусть и произношу её с усталой досадой, с какой рассказывают о неприятном человеке, ушедшем не попрощавшись. Зависть, скан-

дал, дверь. Он записывает. Пару раз уточняет даты. Пару раз я отвечаю чуть быстрее, чем следовало бы, и тут же поправляюсь, сделав паузу там, где она может показаться естественной.

Всё это время я держу лицо. На своё смотреть не могу, но чувствую каждую мышцу: лоб расслаблен, брови на месте, губы в лёгкой гримасе раздражения, которую я отрепетировал перед стеклом шкафа. Я держу это выражение, как держат тяжёлый поднос, боясь пошевелить локтем.

— Вы ведь знали и брата, — говорит он, не поднимая глаз от блокнота. — Генри. Вместе учились.

— На одном курсе.

— Он говорит, вы были друзьями.

— Он преувеличивает.

Он поднимает глаза. Смотрит на меня секунд пять, и мне кажется теперь, что он делает это нарочно: называет имя, задаёт вопрос и ждёт, когда что-нибудь шевельнётся. Я не моргаю. Ни одна мышца не дрожит ни на имени, ни на слове «друзья».

— Двенадцать лет допрашиваю, — говорит следователь, закрывая блокнот. — Обычно что-то бывает. Хотя что-нибудь: глаз, уголок рта, дыхание. У людей, которым нечего скрывать, лицо, как правило, живее. Вы редкость.

— Я устал. Ночь без сна.

— Да-да. — Он улыбается мельком, как улыбаются собственной шутке, которую не собираются рассказывать. — Знаете, что я понял за эти годы? Врут почти все, и почти все лицом. А верим мы словам, потому что проверить лицо нечем. Слово можно сверить с документом. С лицом сверять нечего.

Он оставляет визитку и уходит. Дверь закрывается. Я сижу за столом минут десять, потом пытаюсь встать и понимаю, что у меня дрожат колени. Руки лежат на столешнице ровно, будто кто-то положил их туда. Дрожит только то, что я не показываю.

Ночью я проигрываю разговор десятков раз. Не слова: слова в порядке. Пятисекундную паузу после слова «друзья». Он ждал, что лицо меня выдаст, и лицо не выдало. Оно оказалось надёжнее памяти, надёжнее совести, надёжнее меня самого. Оно хранило чужую смерть на поверхности кожи и ничем не показывало её.

Несколько дней я ничего не думаю. Потом, в институтской столовой, замечаю, как директор рассказывает бухгалтеру о недостающих деньгах на закупку реагентов, и вижу, что лицо у него при этом совершенно живое, приветливое, чуть виноватое, и что он лжёт: реагенты закуплены и лежат на складе. Через день ловлю себя на том, что смотрю на людей в очереди в буфете так, как смотрел бы на архивные записи: ищу напряжение, которое не смогли скрыть. Найти удаётся редко. Почти все держат лицо, как держу его я.

Между поступком и человеком нет надписи. Эту мысль я сформулирую не сразу и, наверное, не так гладко, как записываю теперь. Сначала столовая, очередь, пятисекундная пауза. Потом наблюдение: лицо не помнит того, что делает человек. Потом вопрос, от которого я не могу отделаться, как от привязавшейся мелодии: почему оно должно забывать?

В ту же неделю я беру на просмотр тюремные сводки города, впервые не для работы. Читаю их так, как человек читает список фамилий, надеясь найти свою. Мейстаун тратит на тюрьмы больше, чем на порт. Из десяти освобождённых шестеро возвращаются за решётку через три года. Камеры забиты людьми, которых нельзя отличить от тех, кто вышел вчера, потому что различать нечем: нет знака, нет следа, нет лица, которое помнило бы.

Впервые я пишу слово «клеймо». Не вслух. В рабочей тетради, на полях, мелким почерком, между двумя расчётами калибровки. Потом зачёркиваю и пишу снова.

VII

Одного прибора для этого мало. Прибор умеет зафиксировать лицо, которое ему подставили. Но преступник не приходит к манипулятору сам. Сначала его нужно найти в ту секунду,

когда он совершает то, что совершает, и выражение его лица оказывается тем, которое хочется оставить.

У кого в городе столько глаз, чтобы видеть всё сразу? Ответ очевиден: у службы городского наблюдения. Камеры стоят на каждом перекрёстке, в каждой подворотне верхних ярусов, на пристанях и вокзалах, и записи стекаются в архив, куда за десять лет никто ни разу не заглянул целиком. Часть моих однокурсников по военному факультету после выпуска оказалась именно там. Одного из них я разыскиваю в тот же месяц. Он выслушивает меня в кафе напротив здания службы, смеясь, что инженер из института протезирования просится в подвал, где хранят дни, которые никому не нужны. А через неделю даёт допуск. Только к архиву: живой поток и полный реестр жителей служба без решения думы не отдаёт.

В подвале стоят ряды накопителей до потолка, и на каждом бирка с датой. Я провожу там три месяца. Запускаю на архивных записях модуль идентификации цели, тот самый, что в лаборатории путал манекен с человеком, и учу его искать не контур, а состояние. Оказывается, что выражение лица читается по видео с двадцати шагов. Не по гримасе, для гримасы нужна близость, а по напряжению кожи вокруг глаз и рта, по тому, как сжимается челюсть, за два-три кадра до того, как человек сам осознаёт, что сжал её. Я скармливаю модулю уличные драки, разбойные нападения, запись, где мужчина в переулке душит другого. Модуль зажигает рамку в тот самый момент, когда напряжение достигает предела. Точность поражает меня. Я сижу под лампой в архивном подвале и смотрю, как человек на экране за секунду до удара становится тем, кем станет через секунду, и рамка на его лице загорается раньше, чем взлетает рука.

Сверка с реестром идёт отдельно. Городская картотека жителей хранит снимки лиц всех, кому выдавались документы, и привязать зафиксированное лицо к имени оказывается делом одной ночи и трёх вызовов. Архив, камеры, реестр: всё это уже существует, и никто до сих пор не соединил их. Соединять нечего, кроме моего модуля.

Там же, в подвале, я вижу то, чего не замечал на демонстрациях. Модуль зажигает рамку не только на нападавших. В одном из архивных эпизодов женщина в переулке, на которую напали, сжимает лицо так же, как её нападавший, с той же силой, в те же кадры, и рамка ложится на неё с такой же готовностью.

Я останавливаю запись. Перематываю. Смотрю ещё раз. Потом открываю тетрадь Лизы Грейвош, где крайние точки страха и ярости ложатся на одну кривую, и читаю строку, которую сам когда-то записал дословно: «различать только по контексту, только со слов пациента».

Со слов человека, лежащего в переулке, спросить нельзя. Выяснить контекст модуль может только косвенно: по тому, кто первым двинулся, кто ускорился, чья траектория сходится с чьей. Я пишу это как условие. Это догадка, а не знание, и в протоколе я называю её «вероятностной оценкой контекста». Строку Артура я переношу в приложение, мелким шрифтом, и в основной текст не возвращаю.

> Приложение Д. Ограничения оценки контекста.

> Д.3. Крайние точки страха и ярости для нерва неразличимы. Различение производится вероятностной оценкой контекста (траектории, последовательность движений).

> Д.3.1. Примечание. Исходная формулировка («различать только по контексту, только со слов пациента») снята как неприменимая вне клиники.

Сейчас мне кажется, что в этом нет ничего дурного. Просто поправка, необходимая для того, чтобы система работала.

VIII

Следующая проблема — время. Пик, на который я собираюсь ставить метку, длится секунды, от силы три. Между рамкой на экране и последней точкой, после которой выражение расходится, лежит окно, в которое человеку не втиснуться.

Я провожу замер: дежурный оператор, которому на экран выводят эпизод и который должен подтвердить или отклонить метку, тратит в среднем сорок секунд. Не потому, что медли-

телен. Ему нужно прочесть ситуацию, сообразить, в чём дело, принять решение. За сорок секунд человек на экране успевает ударить, убежать или заплакать. Метка, подтверждённая на сороковой секунде, ложится на лицо, которого уже не существует.

Я составляю план в три ступени и кладу его на стол вместе с замером. Первая: система находит и предлагает, оператор подтверждает, дрон вылетает после подтверждения. Вторая: система находит и вызывает дрон сама, оператор может отменить вызов в течение десяти секунд, пока дрон идёт к цели. Третья: система решает всё сама, человек получает отчёт после.

Старший инженер отдела безопасности приходит ко мне с этой бумагой в тот же вечер.

— Первую подпишу, — говорит он. — Вторую подпишу, если отмена будет по любому сигналу любого оператора, а не по решению начальника смены. Третью не подпишу.

— Пик продолжается три секунды, — говорю я. — Человек подтверждает за сорок.

— Значит, ошибается не человек, а пик.

Он смотрит на меня без злости, с вежливым любопытством, как смотрят на автора хорошего расчёта, сделанного для другой задачи. Я знаю, что он прав, и знаю, что ничего с этим не сделаю.

— Когда вы будете у меня оператором, — говорю я, — вы будете отменять один вызов из сотни. Остальные девяносто девять подтвердите не читая. Через год вы устанете. Через два вы не сможете отличить, где отменять. Я предлагаю не делать вид, что человек в контуре что-то контролирует. Я предлагаю честно назвать этот контроль тем, что он есть: отчётом.

Он молчит. Потом:

— Значит, ответственность вы хотите переложить на алгоритм.

— Я хочу переложить её на алгоритм, который отвечает за то, за что вы отвечать не можете: за скорость.

— И кто проверит алгоритм?

Я не отвечаю. Вопрос остаётся у меня на столе, как бумага с чужой резолюцией, и лежит там, пока я не привыкаю к нему, как привыкают к пятну на скатерти.

Первую ступень он подписывает. Вторую тоже, со своей поправкой. Третью подписываю я сам. Этим решением я развожу два вида ошибок: за те, что совершает алгоритм, в моей системе отвечает теперь никто; за те, что допускает человек, отвечаю я.

IX

Остаётся рука. Клеймо должен поставить не человек: за нужные секунды рядом с преступником не окажется хирурга. Манипулятор Артура, безупречный, послушный мысли, весит триста килограммов и стоит на бетонном фундаменте зала, вросший в контур питания корпуса. Нужна машина, которая доберётся туда, где происходит преступление.

Дроны в городе уже летают: доставка, охрана порта, разведка городской пехоты. Я обращаюсь к тем же военным связям, и месяц спустя у меня на столе стоит корпус, в который помещается вся суть манипулятора Артура, сжатая до трёх суставов и одного захвата. Придумывать это заново мне не приходится. Я просто вырезаю из чужой машины всё, кроме самого нужного, и приделываю к ней крылья.

С тех пор в институте различают слова, которые прежде употребляли как попало. Дрон — носитель: он летит, держит, ждёт. Манипулятор — рука: то, что находится на дроне и делает работу Артура. Плёнкой называется внешняя оболочка, которая ложится на лицо и застывает. Нитями называется то, что уходит от плёнки вдоль лицевого нерва к стволу. Плёнка вместе с нитями составляет имплант. Имплант на лице называют маской, и слово это, до тех пор служившее лаборантам жаргоном, вдруг получает вес, который я пока не оцениваю.

Процедура занимает девять секунд. Захват фиксирует голову. Плёнка ложится на лицо и застывает, повторяя выражение, которое считал прибор. Нити уходят вдоль нерва к основанию черепа и замыкают контур на стволе. Ключа нет. Его я убрал ещё в лаборатории, и потому связь тканей с имплантом не размыкается ни временем, ни хирургом.

Так у нас появляются два вида масок, у которых общий принцип и разные режимы. У Артура маска возвращала подвижность: она читала намерение нерва и переводила его в движение мышц, а режим покоя был временным и размыкался ключом. У ГАМ маска отнимает подвижность: она читает пик и удерживает его вечно. Одни и те же нити. Разное направление.

Смерть при снятии я не закладываю в замысел. Сначала это особенность: следствие отсутствия ключа, ограничение, за которое я отвечаю в графе «применение». Снять маску значит разорвать нити на стволе, и это убивает мгновенно. Только потом, когда я встречу человека, которому нужна необратимость, этот недостаток станет главным достоинством системы.

В тот же миг человек получает номер. Плёнка несёт уникальный рисунок нитей, читаемый любым дроном за сто метров. Он попадает в реестр, приписывается к району, к архиву, к камере, зафиксировавшей его пик. Дальнейшее наблюдение идёт без моего участия: дроны видят маску так же, как видят номер на борту грузовика, и записывают, где она появляется и с кем.

Так замыкается цепочка: камера видит, архив называет, алгоритм решает, дрон ставит, реестр помнит. Я не изобретаю ни одного звена. Каждое чьё-то чужое, и каждое я поворачиваю в сторону, противоположную той, куда его придумали поворачивать.

Х

Через старые военные и университетские связи я выхожу на государственных чиновников, отвечающих за пенитенциарную реформу. Предлагаю им решение проблемы переполненных тюрем и рецидива: систему автономных дронов, способную зафиксировать лицо преступника в момент пикового эмоционального напряжения и хирургически вживить имплант, парализующий мимические мышцы в этой единственной гримасе навсегда. Любая попытка снять маску или повредить лицо носителя ведёт к мгновенной смерти.

Ту встречу я помню отчётливее, чем заслуживает деловое совещание. В тот день я встречаю человека, который знает, что нужно этому городу и что ему можно предложить.

Овальд Андерсон в то время один из директоров думы и отвечает за распределение бюджетом и пенитенциарную реформу, реформа не входит прямо в его полномочия, но с бюджетом из-за своих трат она связана очень даже прямо. Что уж, портфель, от которого до него отказались уже несколько предшественников. Он принимает меня в кабинете, обставленном скупом, без единой лишней вещи, будто хозяин экономит пространство так же тщательно, как слова.

Презентацию я не начинаю. Спрашиваю, сколько уходит на содержание одного заключённого в год. Услышав цифру, киваю: она подтверждает то, что я уже вычислил, готовясь к встрече ночами.

— Я могу сократить эту цифру до нуля, — говорю я. — Не тюрьмы. Новый вид наказания.

Он слушает сорок минут не перебивая. Я объясняю механику дронов, лицевую фиксацию, необратимость имплантации и ни разу не заговариваю о человечности или жестокости, только о цифрах и логистике. Я угадываю, что этому человеку нужен именно такой язык, в котором сострадание редкая и подозрительная валюта, а экономия надёжная и понятная.

— Вы не боитесь ошибок системы? — спрашивает он в конце.

— Боюсь, — отвечаю я честно: в эту минуту я действительно боюсь, хотя страх мой ещё абстрактный, не подкреплённый ни одним лицом. — Но количество спасённых бюджетных часов перевешивает.

Он не улыбается и не морщится. Помолчав, глядя на стол, спрашивает:

— А если придётся остановить?

— Остановить можно только до запуска, — говорю я. — То, что носят, не остановишь.

Овальд кивает. Не мне: чертежу, который ясно видит перед собой. Передо мной сидит не просто заказчик. Он ценит во мне не гениальность, которой у меня нет, а способность решать его конкретную, осязаемую проблему. Пауза между вопросом и кивком длиннее, чем требуется для расчёта. Я отмечаю её и не спрашиваю, что в ней.

Так начинается дружба, которая окажется честнее в своей ограниченности всего, что было у меня с Артуром. Овальд мной не восхищается. Не завидует. Не ищет во мне недостижимого идеала, к которому надо тянуться годами, теряя себя по капле. Он ценит во мне партнёра, и я впервые за долгое время получаю дружбу без тени сравнения, без того особого рода зависти, что копится в тени чужого таланта.

Он даёт мне доступ к живому потоку городской службы наблюдения и к полному реестру жителей: то, чего я не мог получить три месяца в подвале, и то, без чего система осталась бы лабораторным трюком. Через два месяца после встречи у меня допуск, а через полгода первые дроны.

На заседании думы я стою у стены. Проект закона называется «О лицевой фиксации преступного состояния», и Свенссон читает его вслух, как читает цифры экономии, будто любовное письмо.

— Статья первая. Преступлением уровня маски признаётся деяние, совершённое в состоянии пикового эмоционального напряжения, зафиксированном системой.

— Кем зафиксированном? — спрашивает доктор Рив.

— Статья вторая, — продолжает Свенссон, не отвечая. — Фиксация возлагается на исполнителя, определённого контрактом.

Годовое содержание одного заключённого, помноженное на тысячу человек, против стоимости одного импланта и парка дронов, которую предстоит окупить за шесть лет. Камеры, архив и реестр уже существуют и в смету не входят; входят дроны, диспетчерские, серверы и сама компания. Дорн поддерживает сразу: для него это продолжение давней философии, что результат важнее процесса. Косака интересует только порт: лишь бы не трогали бюджет. Рода, отвечающая за социальные службы, не голосует ни за, ни против: вопрос пока не касается её портфеля.

— Статья третья. Имплантация является мерой пресечения и не требует приговора суда.

Рив встаёт. Он смотрит не на Овальда, а на меня, и спрашивает, кто подтверждает, что это была ярость, а не страх.

— Алгоритм, — говорю я.

— Врач подтверждает диагноз, — говорит Рив. — Кто здесь врач?

— Здесь нет диагноза. Здесь есть факт.

— Статья четвёртая, — читает Свенссон, и голос её впервые на секунду сбивается. — Имплант не подлежит снятию.

Овальд поднимает глаза от бумаги. Молчит дольше, чем требуется. Потом кладёт ладонь на стол, и голосование проходит. Рив голосует против один из двенадцати. В коридоре после заседания я слышу, как он говорит Овальду:

— Вы штампуете людей, как накладные. Однажды это аукнется.

— Тогда мы это исправим, — отвечает Овальд.

Рода, проходящая мимо, бросает коротко: «Посмотрим, кто из вас двоих окажется прав, ты или доктор». Никто не отвечает.

Государство принимает решение быстрее, чем позволяет зрелость технологии. Я знаю это и не останавливаю процесс, не требую ещё времени. Часть меня, копившая крупницы чужого авторства ещё в лаборатории Артура, торопится увидеть систему запущенной прежде, чем кто-нибудь успеет спросить, откуда она взялась на самом деле.

Меньше чем через год председательское кресло думы переходит к Овальду. Как именно, город объясняет по-разному, и в объяснения, лежащие в его семье и в стенах думы до моего появления, я не заглядываю. Я вижу только цифру: обещание, выданное на заседании, переворачивает в думе расклад голосов, и портфель, от которого отказывались все, вдруг становится вершиной. В спорных вопросах голос Овальда с тех пор считается за два. Он ни разу не гово-

рит мне, что обязан этим мне. Он вообще никогда не говорит, кому и чем обязан. Не любит быть должным.

Первые годы ГАМ работает на плохо совместимых поколениях дронов и протоколов. Ранние алгоритмы часто ошибаются в оценке пика, путая ужас жертвы с яростью нападавшего, панику случайного прохожего с решимостью настоящего преступника. Я читаю такие отчёты по диагонали, как читаю всё остальное в эти годы, выискивая цифры, а не имена, будущее производство, а не прошлое, которое я сжёг в печи технического крыла и с тех пор старательно не вспоминаю.

Внутри института идут постоянные споры. Инженеры старой школы требуют обязательного человеческого подтверждения перед имплантацией, новое поколение технологов доверяет алгоритму полностью и настаивает на скорости. Я, вчерашний лаборант, не создавший ни одной оригинальной инженерной идеи, оказываюсь в кресле основателя и главного архитектора системы, унаследовавшей не ясный замысел, а нагромождение компромиссов, которой предстоит определить облик целой эпохи.

Я слишком занят графиками и слишком уверен, что цифры, идущие вниз, значат больше всего, чего я ещё не вижу.

Глава III. Проценты вместо лиц

Хроника третья

Первое десятилетие Группы Автоматизации Масок вошло в архивы Мейстауна как десятилетие роста: рост числа дронов, рост зафиксированных случаев, рост цифр в отчётах, которые из года в год ложились на стол думы с одинаковой аккуратностью. Число заключённых в тюрьмах города за эти годы сократилось втрое. Число людей с застывшим, навсегда искажённым лицом выросло в той же пропорции, только в отчётах эта цифра называлась иначе: «носители», «клеймённые», а позже, в разговорной речи улиц, просто «масочники».

Законодательство о том, что считать преступлением уровня маски, переписывалось за эти годы несколько раз. В первые сезоны разные районы города трактовали его по-разному, и одни и те же проступки наказывались неодинаково, в зависимости от того, на какой стороне района они были совершены. Но постепенно формулировки унифицировались, юридический язык затвердел, как затвердевает бетон, и то, что начиналось как эксперимент с размытыми границами, превратилось в систему, которую жители Мейстауна принимали уже не как новшество, а как погоду: то, что просто есть и с чем спорить бессмысленно.

I

Первые годы у руля ГАМ я не назову годами злодейства. Это было бы слишком простым объяснением, слишком удобным для того, кто хочет закрыть главу своей жизни одним словом. Это годы искреннего, почти детского убеждения в собственной правоте. Я снижаю рецидив. Разгружаю тюрьмы. Навожу порядок в городе, который прежде тонул в преступности, и каждое утро, приходя в кабинет, вижу перед собой не тысячи изуродованных лиц, а десятки графиков, стремящихся вниз, туда, куда и полагается стремиться показателям, которых от меня ждёт государство.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.